

А.В. Каравашкин

Конвенциональные модели и «жизненный мир» в источниках культуры

Статья посвящена проблеме конвенциональных моделей в источниках культуры, тому, какова природа этого явления и как его обнаружить в тексте. Автор опирается на работы историков, семиотиков и лингвистов. В качестве примеров приводятся ссылки на средневековые памятники письменности.

Ключевые слова: Конвенциональная модель, «жизненный мир», номинация, коммуникация, адресант, адресат, источники культуры.

Сообщение есть не что иное,
как предложение сделать выбор,
есть побуждение.

Никлас Луман

Свобода человека является
предпосылкой истинной общ-
ности. Общность нельзя скон-
струировать, ее можно только
пережить.

Бьёрн Поульсен

Любые источники культуры являются своеобразными сообщениями, феноменами коммуникации, обладающими собственной иерархически выстроенной системой высказываний. Элементы этой системы подчинены намерениям адресанта, который не только рассчитывает на определенное воздействие, но и властно вторгается в сферу читательского восприятия, выступая в роли интерпретатора собственного текста.

Наиболее ярко, выпукло эти особенности источника как сообщения заявляют о себе в средневековых памятниках. Например, у восточных славян в пору становления исторического нарратива и проповеди основная ткань повествования и авторские комментарии разделялись достаточно четко. Поэтому в дальнейшем мы будем обращать внимание именно на такие примеры, которые помогут лучше понять, как соотносятся рассказ (номинативный уровень) и комментарии к нему, основанные на конвенциональных моделях (коммуникативный уровень). Комментарий создавался в расчете на читателя, на его вовлечение в сферу типичных объяснений.

Неизбежность такого подхода в значительной мере продиктована самой логикой средневековой книжности, которая в меньшей степени ставила перед собой задачи сокрытия истинных намерений сочинителя, но всегда обнажала их с предельной остротой и резкостью. Феномен аллюзивных текстов, которыми так богата христианская традиция, может быть объяснен не стремлением создавать эзотерические, тайные сообщения, а своеобразной экономией средств. Памятник в данном случае следовало бы рассматривать не как шифrogramму, а как *партитуру*, в которой заранее расставлены необходимые указания и пометы, отсылающие читателя к тому, что и так хорошо известно: иначе и не могло быть в эпоху «готового слова», которая, по мнению А.В. Михайлова, может быть названа эпохой «морально-риторической словесности»¹. Не следует путать апелляцию к *само собой разумеющемуся*² (фоновые знания, герменевтический фонд) и подтекст. В чистом виде в древнерусской книжности он заявлял о себе довольно редко³.

Иными словами, следует различать две принципиально противоположные ситуации, когда автор осознанно скрывал от непосвященных ту или иную информацию и когда он лишь намекал на очевидное, обращаясь к «готовому слову»: ведь по природе своей источники культуры зачастую *не договаривают до конца*.

Описанная ситуация характерна для средневековой книжности, но не уникальна в принципе. Ведь обращаясь к прямым высказываниям, которые сопровождают рассказ, мы имеем дело с общекультурным феноменом, получившим широкое распространение как в древности, так и в Новое время, как в культурах традиционных, так и в современных. Теория интерпретации любого текста учитывает два плана сообщения, *номинативный* и *коммуникативный*⁴. Один рассчитан на то, чтобы изобразить или обозначить события, лица, обстоятельства, признаки предметов, действия, процессы. Другой призван объяснить читателю, адресату, каково значение представленного. Коммуникация нередко предполагает объяснение, ком-

ментарий, отношение повествователя к теме и объекту сообщения, т. е. систему *прямых высказываний*. Трудно не согласиться с тем, что речевые действия «служат не только для представления (или предвосхищения) состояний и событий, когда говорящий ссылается на что-либо существующее», но и «для установления (или возобновления) межличностных отношений, когда говорящий ссылается на что-либо в *социальном мире*» и «для манифестации переживаний, т. е. для самопредставления»⁵.

Казалось бы, изучение этого пласта источниковой реальности не таит в себе ничего необычного, а в методологическом отношении не представляет особой проблемы. Всем известно, как легко, можно сказать, механически, отделяется сюжет классической басни от ее «морали» (введения или концовки, содержащих полезное нравоучение). Но первое впечатление обманчиво. И здесь впрямую задуматься не только о том, что именно нам дано знать, но и о том, каким образом мы получаем это знание.

Самым примечательным гносеологическим парадоксом оказывается зависимость объекта от способов его исследования, точнее, от возможностей его конституирования. Наше отношение к объекту предопределяет его характеристики, а не наоборот. Это обстоятельство тем более важно, если вспомнить, что традиционные приемы манипулирования с древнерусскими источниками далеко не всегда приводят медиевиста к очевидностям жизненного мира⁶, к тем установкам, которые книжник манифестировал, рассчитывая на адекватное понимание современников. Только в случае прорыва в эту область актуальных для автора смыслов ученый имеет возможность посмотреть на свой объект как на источник культуры, непосредственно данный, стабильный, необратимый.

Непреднамеренные знаки и коммуникация

Принципиальная несводимость представленных стилей мышления или научных парадигм к задачам истории культуры станет более ясной, если мы попытаемся разобраться с тем многообразием данных, которыми оперируют историки и филологи, предлагая свои реконструкции.

Ценность свидетельств в большинстве случаев определяется их непреднамеренностью, поскольку традиционная наука нацелена на открытие законов и полагает, что и в гуманитарной сфере чем более неосознаваемым для участников процесса является результат, тем лучше для ученого, который может исследовать явление, очищен-

ное от всяких субъективных факторов. Закон потому и является законом, что он действует помимо намерений индивидов. Получается, что идеальная наука должна обнаружить не человека, но механизм, не чью-либо волю, но слепую повторяемость. Экономические, языковые, жанровые, социальные законы при таком подходе наделяются самостоятельным бытием, становятся особыми сущностями, выступают эквивалентом сверхъестественного в мифологии. Превращение источника в средство, или сырье, для реконструкции часто продиктовано его критикой, необходимостью получить надежные факты через голову автора, который оставил сообщение, априори не заслуживающее полного доверия. Исследователь, таким образом, имеет дело не с фактами сознания, а с фактами *вообще*, которые представляют отвлеченную объективную значимость для того, кто их обнаружил. Но знания по минералогии, которые может использовать искусствовед для своих реконструкций, не позволяют понять, что хотел сообщить художник современникам, очень далеким как от тайн изготовления пигментов, так и от тонкостей ремесла живописца. В культурных объектах сосредоточено много примет, но не все они говорят о самой культуре. Р. Якобсон рассматривал такие знаки, не имеющие отношения к процессу обмена информацией при межличностном взаимодействии, как «непреднамеренные индексы», по определению бессубъектные: «Тот факт, что их необходимо интерпретировать как сущности, служащие для выведения существования других сущностей... заставляет нас считать непреднамеренные индексы разновидностью знаков, однако мы не можем упускать из виду кардинальное различие между *коммуникацией*, которая имплицитно подразумевает реального или предполагаемого адресанта, и *информацией*, источник которой нельзя считать адресантом тех знаков, которые интерпретируются их получателем»⁷.

Ошибки писца, как и отпечатки лап динозавра, едва ли имеют какой-то культурный смысл. Это следы, а не послания, приметы, а не значения. Свой семантический код улики приобретают только в контексте исследовательских конструкций, позволяя подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу. Обширный слой информации добывается именно в напластованиях непреднамеренных знаков, не имеющих отправителя, то есть субъекта осмысленной творческой активности. Проговорки, просчеты, причуды памяти, незнание, случайные огрехи, – все эти факты могут приравниваться к проявлениям механического воздействия на объекты, когда сведения о событиях и процессах, имевших место когда-то, накапливаются помимо чьей-либо воли. Линия демаркации, отделяющая любое материальное присутствие от смыслового источника культуры,

проходит по границе осознаваемое/неосознаваемое, затрагивает степень намеренности, определяется выраженностью создающих интенций того, кто заинтересован в передаче информации⁸.

В этом смысле принципиальное для нас значение приобретает мысль Б.А. Успенского, который, пожалуй, первым из отечественных ученых так четко сформулировал задачи историка культуры: «Ведь даже если предполагать наличие каких-то объективных закономерностей, определяющих ход событий, наши действия непосредственно обусловлены не ими, а нашими представлениями о событиях и их связи. Такой подход предполагает, в свою очередь, реконструкцию системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий, так и реакцию на эти события. В семиотической перспективе исторический процесс может быть представлен, в частности, как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая новая информация обуславливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного адресата (социума). <...> Итак, с этой точки зрения важен не объективный смысл событий (если о нем вообще можно говорить), а то, как они воспринимаются, читаются»⁹.

Вместе с тем значительный объем сведений, которыми располагают гуманитарные науки на основе изучения «непреднамеренных индексов», вовсе не относятся к той коммуникативной ситуации прошлого, которая, казалось бы, и должна быть в центре внимания исследователей. При таком подходе критика текста может быть уподоблена палеонтологии, а история напоминает собой совокупность естественно-научных гипотез об эволюционных мутациях. На связь естественных знаков с гипотезой и воображением обратил внимание еще А. Шюц: «Знание индикаций крайне важно с практической точки зрения, поскольку помогает индивиду трансцендировать за пределы мира, находящегося в его реальной досягаемости, связывая элементы, находящиеся в его пределах, с элементами, находящимися за его пределами»¹⁰. В науках, склонных оперировать предположениями, возрастает роль непреднамеренной информации, которая дает простор для гипотетически-дедуктивных построений.

Лишь в гуманитарно-философской и социологической науке последних десятилетий возник заметный интерес к самой специфике сообщения. Это связано с отбором значимых элементов и приобретает двоякую направленность, и с точки зрения того, кто адресует высказывание, и с точки зрения того, кто это высказывание получает. Создатель источника отбирает из многообразных фактов только то, что важно ему. Данный процесс

имеет направленный (интенциональный) характер. Сообщение – результат отбора, сосредоточения внимания на существенном, актуальном, ценном, предпочтительном. Получающий сообщение также имеет свою направленность интереса. Он выбирает из полученной системы высказываний только то, что важно и значимо в определенном ситуативном контексте, основываясь на своем опыте, который, как правило, не совпадает с опытом автора. Это естественно в том отношении, в каком можно говорить об интенциональности восприятия. Любой объект конституируется через постепенное обнаружение своих не выявленных сторон. И чем сложнее он, тем большее число потенциальных горизонтов может быть открыто воспринимающему, может быть тематизировано.

Итогом передачи сообщения становится не весь текст, но только то, что по разным причинам прочитывается, опознается как важное и значимое. Ясно, что содержание не переносится механически из одного источника в другой. Оно всегда обрабатывается, усваивается избирательно и бывает переосмыслено в русле тех причинно-следственных связей и договоренностей, в сфере которых находится воспринимающий. Неслучайно один из создателей теории социальных систем и коммуникации Н. Луман подчеркивал: «Говорят, что коммуникация переносит сообщения или информацию от отправителя к получателю. Мы попытаемся обойтись без данной метафоры. Метафора переноса не годится... Она внушает, будто отправитель передает то, что получает адресат. Это неверно уже потому, что отправитель ничего не отдает в том смысле, что сам утрачивал бы. Все метафоры обладания, владения, отдачи и приобретения, весь предметный метафоризм не подходит для понимания коммуникации»¹¹.

К сходным выводам приходили и отечественные ученые, занимавшиеся проблемой сообщения в рамках структурно-семиотического подхода. Так, Ю.М. Лотман в известной работе о трех функциях текста отмечал: «Если увидеть в адекватности передачи текста основной критерий оценки эффективности семиотических систем, то придется признать, что все естественно возникшие языковые структуры устроены в достаточной мере плохо. Для того чтобы достаточно сложное сообщение было воспринято с абсолютной идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации практически недостижимые... Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов»¹².

Но из того, что при коммуникации всегда велик риск творческого или ошибочного прочтения, следует только повышенное внимание к структурированию сообщения, к внедрению в него

особых метатекстовых элементов, которые побуждают читателя к истолкованию, к поиску ответов на вопросы в нужном для отправителя ключе.

Нельзя отрицать того, что отправитель, как правило, рассчитывает на понимание. Чтобы избежать слишком избирательного, однобокого, неверного усвоения транслируемых смыслов, автор должен сформировать восприятие, предопределить отбор значимого, спланировать направленность внимания, добиться нужного эффекта во взаимодействии с адресатом. С этой целью автор создает сообщение о своем сообщении, стремится выстроить систему меток, специальных маркеров, которые позволили бы верно отнестись к его тексту. Автор, иными словами, прогнозирует сам способ конституирования информации получателем.

Первым интерпретатором источника зачастую становится его создатель. Он осознанно наделяет сообщение системой явных указаний, которые выступают в роли комментария, сопровождающего основной рассказ. Пользуясь терминологией теории социальных систем, можно сказать, что автор превращает свое сообщение в информацию, обеспечивая условия надлежащего понимания.

В медиевистической русистике этот аспект источниковедения практически не оформлен в качестве самостоятельной научной отрасли. Не систематизирован и обширный корпус сведений, относящихся к работе средневекового книжника-интерпретатора. *Сообщения о сообщении*, которыми так богата средневековая книжность, еще предстоит изучить.

Методом такого исследования предпочтительнее считать реконструкцию, предполагающую, с одной стороны, путь от части (отдельный наблюдаемый признак) к целому (континуум или источниковая реальность) и, с другой стороны, обнаружение повторяющихся, типичных способов оформления высказывания. Этот подход позволит увидеть, что метатекстовые элементы не только обеспечивали относительную коммуникативную упорядоченность и прозрачность на пути от автора к читателю (а функционирование текста всегда осуществляется в качестве контакта интерпретаторов), но и служили сохранению, наследованию и обработке общественно-важных смыслов. Коммуникация предполагает социальность. До известной степени общество возникает там, где устанавливаются определенные способы передачи информации. Они используются по договоренности, на основе негласного взаимопонимания. Одной из важнейших составляющих культурной традиции является стремление к стабильности, к накоплению и транслированию предсказуемых сообщений, которые позволили бы объяснить все

индивидуальное, уникальное, непохожее в категориях, понятных участнику коммуникации.

Это явление, часто обозначаемое как «конвенциональность», Роман Якобсон с отсылками к знаменитой работе Пирса 1867 г. называл установлением и присвоением «произвольных»¹³ связей, которые предполагают наличие определенной согласованности. Принятое и преднамеренно одобренное обладает значительной степенью условности. Символические коннотации пронизывают собой все виды человеческой деятельности и до известной степени говорят о человеке и социуме больше, чем события истории, поскольку только через символы можно судить о том, как то или иное сообщество интерпретирует себя и свой контекст, внешнее окружение, как оно представляет себе универсум, находящийся за пределами непосредственного опыта. Подобного рода активность немыслима без слаженного, согласованного действия, предполагающего общие релевантности, очевидности жизненного мира. В «манипулировании символами», рассчитанном на внешнего получателя, все конвенционально: «Человек есть поистине “animal symbolicum”, если понимать под этим термином его потребность, а вместе с тем и способность, приспособляться с помощью аппрезентативных отношений к различным трансценденциям, выходящим за границы актуального Здесь и Сейчас»¹⁴. Даже индексы (указательные знаки, распространенные в том или ином сообществе) и буквально понимаемые иконические изображения (картины, схемы, планы, предусматривающие фактическую близость объекта и его обозначения) не лишены конвенциональности, которой исполнена вся культура, на всех ее уровнях. Порой нам только кажется, что линейная перспектива в живописи – нечто само собой разумеющееся. Схождение линий на горизонте в одной точке и распределение предметов по степени приближения к наблюдателю – лишь одна из возможных конвенций, один из способов видеть мир: «Проекция трехмерного пространства на двухмерную плоскость посредством изобразительной перспективы любого типа является приписанным свойством, и, если на картине изображены два человека, один из которых выше другого, мы должны быть знакомы с особенностями определенной традиции, в соответствии с которой как более крупные могут изображаться фигуры, либо находящиеся ближе к зрителю, либо играющие более важную роль, либо действительно имеющие большие размеры»¹⁵.

Все участники коммуникации пользуются известным и типичным в соответствии с конвенцией своего времени. Это касается как естественного языка, на котором происходит общение, так и

вторичного моделирования, языка культуры, точнее, любой его конкретной разновидности. Для искусственного, условного языка, обслуживающего определенные сферы общения, характерна только большая специализация, стремление поставить взаимодействие в определенные рамки (язык кино, лирической поэзии, язык агнографических топосов, язык эпистолярной культуры).

Конвенциональные модели

Далее речь пойдет о феномене, который хорошо известен философам, лингвистам, социологам, этнологам, но по какой-то причине он не получил ясного описания в источниковедении, не был закреплён ни в исследовательской практике, ни терминологически. Мы воспользуемся своим термином «конвенциональная модель». Следует сразу расставить все акценты и пояснить, почему именно это обозначение типичного и повторяющегося в источниках культуры мы считаем предпочтительным и целесообразным. Само словосочетание «конвенциональная модель» не является новым. То и дело в научной литературе оно используется по самым различным поводам. Но здесь мы предпринимаем попытку более определительного и точного его применения. Конвенциональная модель представляет собой некую матрицу или общепринятый способ объяснять наличествующую данность. В повествовательных источниках это видно особо наглядно, поскольку то или иное событие может становиться предметом развернутого толкования. Очень часто установление причины того или иного происшествия является *конвенциональной моделью*. Иными словами, автор не просто описал событие, но и сумел раскрыть его смысл на основе вошедших в культурный обиход способов объяснения.

Например, с определенного момента на Руси у книжников вошло в привычку объяснять победы над врагом не доблестями полководца, а его благоверием и послушанием. Именно эти качества предопределяли счастливую развязку, поскольку на поле битвы появлялось небесное войско, целые полки ангелов, которые не только гнали врага, наводя на него ужас, но и решительно истребляли его. Если мы будем судить о данной красочной картине лишь на основе текста «Повести о житии Александра Невского», то может возникнуть некая иллюзия: только он так откровенно сравнивался с Иисусом Навином, который завоевывал землю Ханаанскую при непосредственном участии Бога. Значит, это якобы индивидуальная примета текстов, посвященных Александру, оставшемуся

в коллективной памяти в качестве исключительного, из ряда вон выходящего полководца, опиравшего на физическое содействие ангельских сил. Однако в летописных сообщениях, очень близких идеологически и стилистически жизнеописанию Александра, о Божественной помощи во время битвы говорится уже применительно к событиям XII в. Эта же ситуация переносится и на более поздние, чем Невская битва, эпизоды воинской истории. Только в соответствующем контексте та или иная интерпретация может быть опознана в качестве конвенциональной модели. При этом никакого значения не имеет, насколько искренне описывал чудесное событие тот или иной автор. Его мотивы, явные или скрытые, могли не заявлять о себе вовсе. Главное, как он манифестировал в тексте тот или иной знаковый эпизод. В итоге бывает важнее не то, о чем он писал и с какими тайными на этот счет мыслями, сколько то, *как* он выражал свои намерения. Последнее, по крайней мере, имеет не менее существенный исторический смысл, поскольку именно эти *внешние побуждения* помогали современникам автора представлять и осваивать действительность, оформляя ее в качестве пространства для коммуникации (впоследствии это пространство привычных объяснений мы будем называть «континуум», или «источниковая реальность»).

На первый взгляд, после работ исследователей идеологических конструкций и разнообразных идеологем, начиная с К. Гирца и его продолжателей, интерпретативная теория культуры или «семиотика» (читай, «герменевтика» в специфическом гирцевском понимании) давно освоили сферу правил и предписаний, регламентирующих поведение человека как субъекта культуры. Идеология стала общепризнанной областью исторических и филологических штудий, а задача изучения миропонимания человека уже поставлена и превращена даже в целый ряд практических рекомендаций для исследователя. С этим невозможно спорить. Однако, говоря о конвенциональных моделях, мы имеем в виду не только идеологию, хотя и ее тоже. Понятие «конвенциональная модель» шире представления об идеологическом творчестве, как жизненный мир шире любого из элементов, его образующих. Идеология лишь одна из специфических модификаций конвенционального в культуре. И вряд ли представление о всемогуществе Бога, который может запрещать ангелам тьмы действовать по злему умыслу, направляя их активность на выполнение благих дел, можно отнести только к идеологии. Конвенциональную модель легче всего представить как идеологему, но этой функцией регулятора общественных отношений ее роль, конечно, не ограничивается. Конвенциональная модель

обеспечивает производство любого развернутого объяснения. Она может включать в себя любые образы, метафоры, концепты, не обязательно, кстати, идеологические. Вообще панидеологизм некоторых теорий заставляет видеть в идеологии чуть ли не область продуцирования любых значений. В таком случае между идеологией и культурой вообще нет никакой разницы.

В той или иной мере конвенциональная модель может относиться и к живому верованию, и к соблюдению некоторых стандартизированных правил «игры», не предполагающих настоящего сочувствия, и к политической культуре, и к такому состоянию умов, которое не видит и не знает политики в качестве обособленной отрасли, и к религии, и к магии, и к диалогу с высшими силами, и к простым суевериям, и к рационализованному типу мышления, и к массовой культуре, живущей актуальными мифами и сиюминутными страстями. Сколько проявлений конкретного жизненного мира возможно, столько возможно разнообразных конвенциональных моделей и конкретно-исторических вариаций типичного объяснения. При этом у носителя какой-либо культурной общности всегда остается широкий выбор при воспроизводстве способов интерпретации событий, институциональных предписаний, норм и отступлений от них.

В современной гуманитарной науке в обращении находится множество понятий, которые используют лингвисты, литературоведы, социологи, психологи, философы. И некоторые из этих понятий близки тому, что мы обозначили как «конвенциональная модель». Чтобы яснее представить специфику того феномена, о котором идет речь, проведем предварительные разграничения.

Может возникнуть совершенно закономерный вопрос, а не дублирует ли «конвенциональная модель» такие широко распространенные в современной прагматике дискурса понятия, как «конвенциональный фрейм» или, к примеру, «макроструктура»? Нелишним будет напомнить и о том, что в современных теориях и практиках интерпретации давно используется термин «метатекстовые операторы». Наконец, современные медиевисты нередко пишут о «рече-поведенческих тактиках» и «топосах».

Очевидно, что все эти термины и стоящие за ними понятия имеют отношение к высказыванию, к тому, как подчиняется это высказывание определенным намерениям, к тому, как оно интерпретируется. И все же, допустив замену одного термина другим, легко внести путаницу, и это уведет как от интересующего нас феномена, так и от той части источниковой реальности, которая должна стать предметом анализа.

Фрейм представляет собой аналог предварительного знания или ситуативного/коммуникативного контекста, позволяющего в принципе понять, о чем идет речь. Фреймов великое множество, но, пожалуй, самой общей их особенностью является незакрепленность в самом высказывании. Они образуют внетекстовое пространство сообщения, и для историка культуры они во многих случаях не подлежат реконструкции. Это некий поток, подвижная среда, в которой была осуществлена или осуществляется в данный момент коммуникация.

Макроструктура представляет собой, напротив, нечто внедренное в само высказывание, его общий смысл, который выявляется благодаря ряду формальных приемов. Одним из них и бывают метатекстовые операторы, указывающие на членение, последовательность, обстоятельства речи, они внешне обслуживают адресанта, позволяют ему ориентироваться в коммуникативном пространстве.

Рече-поведенческие тактики являются типичными способами организации высказывания, своего рода формообразующими моделями. Они могут быть ориентированы на те или иные метатекстовые маркеры, могут использовать их. В целом это понятие находится на границе интенциональности автора и приемов оформления намерения в связный текст как систему высказываний. На первом плане здесь оказывается проблема композиции и жанра.

Наконец, топосы представляют собой предметную закрепленность типичных оборотов речи, мотивов, символов и формул в тексте. Топосы отличаются максимальной конкретностью, с одной стороны, и нередко дословным воспроизведением – с другой.

Ясно, что «конвенциональная модель» не совпадает полностью ни с одним из этих понятий. И несмотря на очевидную общность по некоторым позициям, она расходится с рассмотренными научными конструктами в другом, причем принципиально.

В отличие от фрейма конвенциональная модель находится не за пределами источника, а внутренне присуща ему. Она сравнительно легко верифицируется: во-первых, в силу того что оформлена как прямое высказывание, во-вторых, потому, что встречается в других источниках. В противоположность фрейму, конвенциональная модель играет роль явного ключа к высказыванию и одновременно позволяет определить место этого высказывания в системе значимых в культурном отношении типичных объяснений¹⁶.

Конвенциональная модель не является макроструктурой, поскольку не охватывает сообщения целиком, но представляет лишь некоторую его часть, пусть и важную для понимания текста как такового.

Метатекстовые операторы выполняют служебную функцию и в то же время они слишком конкретны в своей инструментальной приземленности; их семантика исчерпывается ролью своеобразных указательных знаков, индексов, пометок. Они так же соотносятся с мировоззрением автора и его ценностями, как этикетные формулы с действительным намерением говорящего. О них быстро забывают, как только они выполнили свою роль. Конвенциональная модель не может быть исключительно служебной, и даже если автор воспользовался ею в каких-то неизвестных нам целях, она слишком значима, типична и потому для данной культуры не проходит незамеченной. Нейтральным блеклым фоном она является порой лишь для внешнего наблюдателя, который все отступления от типичного рассматривает как эффектный прием. Для современника или соплеменника она говорит больше, чем для чужака. Итак, метатекстовые операторы сближаются со средствами естественного языка, а конвенциональные модели являются непременным элементом языка культуры.

Наконец, рече-поведенческие тактики, хотя и возникают в определенной культурной среде, там, где необходимо соотнести форму высказывания и его целеполагание, не детерминируют все авторские интенции. Ведь типичная форма, при всей ее важности для содержания, актуализируется в конкретной и непредсказуемой ситуации. До определенной степени рече-поведенческие тактики, овладение ими, их свободное или строго обусловленное варьирование становятся средством выражения каждый раз нового комплекса намерений. Порой можно предсказать жанр, но нельзя предсказать свободу выбора. Формой или структурой сообщения нельзя полностью запрограммировать его смысл, о чем в свое время весьма убедительно написал В.Я. Пропп¹⁷. Конвенциональные модели воспроизводятся в условиях относительной авторской свободы. К тому же они не имеют строго формального воплощения. Они сродни ментальным матрицам, а не композиционным трафаретам или устойчивому репертуару риторических фигур.

Топосы очень часто возникают там, где реализуется определенная конвенциональная модель. Но всегда ли их можно считать неотчуждаемым элементом или константой конвенциональности? Приходится признать, что практика изучения культурных традиций опровергает это предположение. Топосы как мотивы, символы, формулы отмечены завидным постоянством, регулярностью. До некоторой степени мы даже ожидаем их в том или ином контексте, что отчасти сближает их с конвенциональными моделями. Но в источниках возможна типичная интерпретация

без сопутствующих общих мест. Казалось бы, они запрашиваются или подразумеваются, но тем не менее по неизвестной нам причине отсутствуют. «Память, – отмечает Л.А. Софронова, – организует культуру в единое целое, где все составляющие связаны между собой, хотя некоторые из них “находятся в покое”, а другие активно действуют»¹⁸. Возможна и прямо противоположная ситуация, когда топосы буквально пронизывают текст, а смысл этой стратегии верифицировать трудно, поскольку автор не раскрывает своего замысла в конвенциональных прямых высказываниях. Ключ к целому бывает потерян. В отличие от общих мест конвенциональная модель играют первостепенную роль главного верифицирующего фактора¹⁹. Топос не довлеет себе. Его значение раскрывается в определенном контексте²⁰, существенную, но не единственную, разумеется, роль в формировании которого играют как раз конвенциональные модели.

Несмотря на принципиальную недоговоренность в процессе общения, несмотря на стремление экономить прямые высказывания, субъект культуры не может ограничиваться только символами, топосами, аллюзиями. Ведь и у наших современников запас символических значений может не совпадать, как не совпадает у разных людей, хотя бы и близких в культурном отношении, простой жизненный опыт. Эту механику «перевода» символов на язык описания выявил Р. Якобсон. То, что в гуманитаристике часто называют «метаязыком», является обычной интерпретацией. Сам автор сообщения прибегает к ней, когда требуется сказать о том же самом, но другими словами. Стратегия высказывания многомерна. Она должна учитывать неизбежное запаздывание сигналов, которые не вовремя приходят к адресату или усваиваются в искаженном виде. «Одна из важных заслуг символической логики, – замечал Якобсон, – перед наукой о языке состоит в особом выделении разграничения между *языком-объектом* и *метаязыком*. <...> Очевидно, что подобные операции, которые в логике называются метаязыковыми, отнюдь не являются изобретением логиков: ни в коей мере не замыкаясь в сфере науки, они составляют неотъемлемую часть нашей обычной языковой деятельности. Участники диалога нередко проверяют, используют ли они один и тот же код. “Понятно ли вам? Понимаете ли вы, что я имею в виду?” – спрашивает один, а слушающий сам может прервать речь собеседника вопросом: “Что вы хотите этим сказать?” В таком случае, заменяя сомнительный знак другим знаком из того же языкового кода или целой группой знаков кода, отправитель сообщения стремится сделать его более доступным для декодировщика»²¹.

Функция «конвенциональной модели» – в установлении соответствий, в том, чтобы развить равномерный континуум сообщения, избавиться при коммуникации от нежелательных нарушений. Конечно, в значительной мере такая модель остается «идеальной» в том смысле, который имел в виду М. Вебер²²: в данном случае программируется наиболее вероятный и правильный, с точки зрения информатора, тип понимания, а достигнет ли автор при этом своей цели, часто определяется другими причинами. Тем не менее прогнозируемый контакт – вещь настолько обычная при отправке сообщения, что без нее не могли бы обойтись ни одно сообщество, ни одна культура: «Разделенность в пространстве и часто во времени между двумя индивидами, адресантом и адресатом, преодолевается внутренним отношением: должна существовать определенная эквивалентность между символами, используемыми адресантом, и символами, известными адресату и интерпретируемыми им. Без такой эквивалентности сообщение бесполезно – даже если получатель сообщения воспринимает его, оно не воздействует на получателя должным образом»²³.

На первый взгляд, словосочетание «конвенциональная модель» содержит в себе некую тавтологию. Можно подумать, что модель как образец, готовая к воспроизведению схема или «выкройка», уже принимается многими по договоренности, и это соглашение свидетельствует о некоей добровольной условности, правилах, кем-то установленных. Модель, с этой точки зрения, есть нечто внедренное, опробованное, растиражированное. Но это не так. В любом конструкторском бюро на тысячу проектов придется в лучшем случае несколько сотен реализованных. Множество риторических предписаний и правил остаются на бумаге, поскольку они не востребованы на практике. В культуре много готовых образцов, но далеко не все из них получают признание. Иными словами, предложение опережает спрос.

Чтобы получить в глазах коллективного субъекта правомочный статус, модель должна пройти своеобразную «инициацию», стать существенным атрибутом обиходного слоя культуры (как правило, модель или комплект взаимосвязанных моделей незаменимы для представителей той традиции, которая их использует). Внедрение той или иной матрицы происходит, конечно, по-разному. Иногда в силу влияния официальной верхушки или по причине односторонней идеологической инициативы, иногда спонтанно. Нередко даже носителям социально одобренной нормы бывает трудно установить, что явилось причиной ее возникновения, и тогда на помощь приходит механизм легитимации, описанный в классической книге

Бергера и Лукмана «Социальное конструирование реальности». Социальный порядок, к которому принадлежат члены сообщества, постепенно начинает восприниматься натуралистически, как нечто само собой разумеющееся, как часть природного порядка, как объективная данность. Но это отношение к вещам и необходимым институтам при переходе от одного поколения к другому должно быть усвоено, т. е. тем, кому предстоит участвовать в поддержании старого порядка, важно передать знания об этом положении вещей (инцестуозные табу предполагают, что человек знает свое племя и его соседей, кодекс дворянской чести требует знаний о состоянии и границах сословий, дипломатический этикет выполняется на основе предварительных сведений о межгосударственных отношениях). И дело, конечно, не только в трансляции фактических данных, но и в ценностном обосновании норм, а это уже важнейшая разновидность *интерпретации*.

Но очень часто модель вырабатывается не в силу того, что так велит традиция, а по причинам прямо противоположным, в целях разрыва с традицией, для эпатажа, вызова общественному мнению. Такой выбор будет отличаться всеми признаками одностороннего решения. В современной культуре прекрасным примером функционирования подобных образцов может быть мода, в том числе и высокая, о чем в свое время писал Р. Барт: «...мы будем говорить, что система произвольна, если ее знаки основаны не на договоре, а являются продуктом одностороннего решения: в естественном языке знак не произволен, но он произволен в *моде...*»²⁴. Никто не будет носить вызывающие платья, но все понимают, что как некий образец для подражания они даны, даны в силу весьма узкого и непредсказуемого для социума выбора (воля модельера). Поэтому слово «модель» и не содержит коннотации «соглашение», «договоренность», «традиционность».

Значит, словосочетание «конвенциональная модель» предполагает очень существенное и, можно даже сказать, необходимое семантическое приращение. В данном случае имеется в виду не «образец» вообще, а то, что вошло в обиход, стало непререкаемым элементом языка культуры, фундаментальным *содержательным* аспектом коммуникации в том или ином сообществе. Именно конвенциональные модели являются важнейшими элементами и проявлениями жизненного мира, тем *само собой разумеющимся*, которое исследователь источников должен реконструировать.

Но сказанного недостаточно для того, чтобы понять специфику используемого нами термина. Если модель общепринята, внедряется в обиход по некоему соглашению (при всей условности этой

лексемы; конечно, мы далеки от мысли, что на самом деле имел место некий договор прежде, чем возник язык), то из этого не следует, что нам понятна роль традиции, что нам ясно, в чем заключено существо «канона», правил, единых оснований для общения.

Во-первых, общение двух представителей одной культуры или разных культур может проходить и без всякого усвоения традиции. Иногда бывает достаточно естественного языка (как на бытовом, так и на более высоком специальном уровне). Конвенция есть нечто избыточное по отношению к коммуникации, какой-то добавочный слой, смысл которого предстоит раскрыть (как избыточен дидактический комментарий по отношению к нарративу, описательной функцией которого адресант может довольствоваться). Например, летописцу достаточно рассказать о бедствиях той или иной земли, пострадавшей от врагов, чтобы быть понятым. Для этого вовсе не обязательны «конвенциональные модели». По аналогии с естественным языком вслед за Д. Дэвидсоном можно сказать, что «языковое общение не требует освоения конвенциональных шаблонов, хотя мы и используем их в общении достаточно часто»²⁵.

Понятно, что при общении обычным называнием, констатацией, номинативными возможностями речи дело не ограничивается. Одна из важных интенций говорящего предполагает «качество», то есть оценку, отношение, мнение. Иными словами, мы не только описываем ситуацию, но даем ей свое объяснение, выступаем в роли интерпретаторов. Именно эту оценивающую доминанту своего сообщения мы хотим передать окружающим, заражая их своими настроениями, своими идеями, своим «пафосом».

Человек относится к происходящему, к тому или иному положению дел, пребывая на уровне тех культурных привычек, тех очевидностей жизненного мира, которые его окружают²⁶. Таким образом, передавая информацию, мы не просто транслируем свое умонастроение, мы выражаем его подчас в привычных, общепринятых формах. Конвенциональная модель это один из типичных способов определять ситуацию, одно из общепринятых объяснений и оправданий, способных подчеркнуть значимость того или иного события или авторитетность высказывания: «Легитимация говорит индивиду не только почему он должен совершать то или иное действие, но и то, почему вещи являются такими, каковы они есть. Иначе говоря, “знание” предшествует “ценностям” в легитимации институтов»²⁷.

Последнее утверждение, как мы думаем, нуждается в некоторой коррекции. Дополнительный коммуникативный уровень (конвенциональная легитимация) призван не только передавать

информацию, но и всемерно интегрировать представителей социума, включая участника общения, в одобренный порядок, делая его адептом определенного образа мыслей и своего рода интерпретатором. Здесь межличностное взаимодействие наиболее эффективно с точки зрения результативности. При этом трудно сказать, что в данном случае все-таки важнее – знания или ценности. Правильнее говорить об их теснейшем синтезе.

Подчеркнем еще раз, что типичные объяснения необязательны, теоретически их может и не быть. Но коммуникация, если это факт культуры, всегда избыточна. Вдогонку знаниям отправляется целая гамма настроений, мыслей, оценок. Именно они и позволяют, в первую очередь, судить о субъекте высказывания как о «референте» определенной традиции.

Во-вторых, говоря о традиционализме, мы чаще всего представляем себе набор мертвых схем, индикации какой-то неподвижной, неживой культуры, которая овладевает человеком, и что бы он ни сказал, все оказывается в его речи наследием нежизнеспособного прошлого. Так нередко думают об удушающих объятиях канона или о тотальной власти «этикета», системы принудительных норм. Это мнение нуждается в коренном пересмотре.

Очень часто в культурах традиционного типа нормативность выражена слабо. В значительной мере это касается и культуры древнерусской, обходившейся во многих сферах без жестких предписаний на протяжении веков. Культура не договаривает до конца именно потому, что не спешит превращать свои знания и очевидности в нормы, т. е. в свод закрепленных в письменном виде правил. На Руси до XVII века вообще не было нормативных «грамматик», «риторик», «поэтик», и все прекрасно обходились без этих руководственных текстов. Происходило это по причине некодифицированности требований. Они нигде не были обозначены. Авторы исходили из «узуса», привычки или обычая, которые передавались, конечно, от поколения к поколению, но не были достаточно внятыми. Канон в данном случае был лишь совокупностью возможных образцов, круг которых очень трудно выявить современному исследователю. Реконструкция фоновых знаний того или иного творца представляет собой отдельную проблему.

Но именно эта незакрепленность традиции, некоторая ее текучесть, аморфность определяли высокую меру свободы автора. Вот что по этому поводу говорил С.Н. Бройтман: «Многие считают, что канон – система неких правил, данных извне, нечто вроде принудительного закона, стоящего над человеком и художником. Для изучаемой нами эпохи это не так. Для нее канон – не столько данные

извне правила, сколько заданные порождающие принципы произведения искусства. В этом качестве он не обязательно жесток – он допускает большую (в принципе неисчерпаемую) свободу вариаций и сам по себе неопределим сколько-нибудь однозначно, ибо его моделью является творческий акт Бога»²⁸.

Итак, традиция – не мертвая схема, а живая *возможность выбора*. Канон – не готовый образец, а ясно очерченное пространство самоопределения, область реализации свободы.

В-третьих, мы еще не прояснили такую функцию конвенциональных моделей, как их *регулярность*. Между тем это важно не только для оправдания используемого термина, но и для того, чтобы растолковать практическую сторону работы. Ведь речь пойдет не только о специфике явления, но и о том, как его исследовать. Говоря о конвенциональности в общении, Д. Дэвидсон отмечал: «Чтобы конвенция ... могла иметь место нечто должно повторяться во времени»²⁹.

Стоит добавить, что опознать конвенциональную модель представителю одной культуры, если речь идет для него об иной, внешней культуре, бывает практически невозможно. Единственный путь установить, что для определенной эпохи и определенного сообщества значимо, это обнаружить регулярность, повторяемость высказывания. При этом может воспроизводиться не столько форма, сколько сущность интерпретации, ее смысловое ядро.

Примечания

- ¹ Михайлов А.В. Историческая поэтика в контексте западного литературоведения // Историческая поэтика: Итоги и перспективы. М., 1986. С. 53–54.
- ² В данном случае мы подразумеваем комплекс готовых знаний, очевидностей, подробное истолкование которых далеко не всегда необходимо, поскольку тот, кто производит сообщение, автоматически приписывает это знание Другому. На этом и построено взаимодействие субъектов культуры. Общие очевидности – это и есть их жизненный мир.
- ³ О подтексте см.: Камчатнов А.М. Подтекст: термин и понятие // Филологические науки. М., 1988. № 3. С. 4–45.
- ⁴ Общественная природа коммуникации видна не только в санкционированном выборе сочетаний слов, но и в индивидуальном их выборе. Об этом, а также о номинативном и коммуникативном аспектах речи см.: Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 2005. С. 140 и др.
- ⁵ Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2006. С. 203.

- ⁶ Категория «жизненный мир» получает в современной философской и социологической литературе порой слишком разноречивые и трудно согласуемые толкования. Мы останавливаемся на определении Ю. Хабермаса, которое для наших целей представляется наиболее ясным и предпочтительным: «Тот или иной общий для многих жизненный мир предлагает определенный запас культурных самоочевидностей, из которого участники коммуникации в своих интерпретативных усилиях заимствуют устраивающий всех образец истолкования» (*Хабермас Ю.* Указ. соч. С. 202).
- ⁷ *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985. С. 325.
- ⁸ Иными словами, наиболее точный способ понять культуру эпохи заключается в поисках самопрезентаций прошлого, рассчитанных на внешнего получателя, адресата. С этой точки зрения совсем иной смысл приобретает традиционная герменевтическая установка – понять автора. От источников культуры меньше всего стоит ожидать приглашения в потаенную область скрытого смысла, чужой субъективности, душевной жизни, психологии. Все эти попытки ответить на вопрос, каким был человек отдаленного времени в его объективной ипостаси, лишены смысла, поскольку мы не имеем возможности преодолеть конкретное сознание. Ведь нам не дан человек сам по себе, а только модусы его восприятия (в том числе и самовосприятия). Во внешнем выражении остаются поверхностные слои, те движения, которые могут быть понятны другим, включены в наличный запас знания.
- ⁹ *Успенский Б.А.* Избранные труды: В 3 т. М., 1996. Т. 1. С. 11–12.
- ¹⁰ *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 481.
- ¹¹ *Луман Н.* Социальные системы. СПб., 2007. С. 195 и сл.
- ¹² *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 13–14.
- ¹³ Произвольность в данном случае следует понимать только как дистанцию между знаком и тем, на что он указывает, как условность отношений между означающим и означаемым. Тот или иной объект (например, автомобиль) может быть изображен непосредственно (картина, фотография, схема), а может быть только обозначен (условная метка, слово, образное высказывание). Последний тип означающих и будет конвенциональным, поскольку только символ предполагает соглашение, договоренность, когда между знаком и объектом, на который он указывает, нет сходства. Более сорока лет назад Р. Барт провел разграничение «произвольности» и «мотивированности» знака. Под первой он предлагал понимать своевольное решение по установлению знаков, под второй – отношение аналогии между означающим и означаемым (*Барт Р.* Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 136). Любая конвенция одобрена, становится частью традиции, привычки, нормы и узуса. В этом смысле ни о какой произвольности, разумеется, говорить не приходится. Наоборот, налицо стандартизация, которая необходима сообществу, чтобы сохранять контроль над коммуникацией. Типичные сообщения

и типичные реакции позволяют организовать взаимодействие, оберегая его от всего случайного. О неприменимости по отношению к естественному языку понятия «произвольность» см.: *Степанов Ю.С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. С. 304; *Лебедев М.В.* Стабильность языкового значения. М., 1998.

¹⁴ *Шюц А.* Указ. соч. С. 526.

¹⁵ *Якобсон Р.* Указ. соч. С. 322.

¹⁶ «Фрейм» мы понимаем здесь так, как толковал его представитель лингвистики текста Т.А. Ван Дейк. Именно как концептуальный конвенциональный фрейм, имеющий отношение к типичным сценариям поведения, позволяющий адекватно интерпретировать эти сценарии (См.: *Ван Дейк Т.А.* Язык. Понимание, Коммуникация. Благовещенск, 2000. С. 16–19). Эта оговорка необходима, поскольку существует множество концепций, объясняющих «фреймы» и «фреймирование». Например, фрейм в теории политической деятельности имеет свою специфику и в чем-то, безусловно, напоминает актуальную формирующуюся конвенциональную модель. См.: *Яноу Д., Ван Хульст М.* Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1–2. С. 87–113.

¹⁷ Структурная повторяемость, которой Пропп придает статус закона, не препятствует, с точки зрения ученого, большой свободе сказителя, возможности привносить такие элементы, которые не могут быть по определению предписаны жестким каноном. Сказочник свободен в выборе функции, в выборе способов ее реализации, в выборе номенклатуры и атрибутов действующих лиц. Эта свобода характеризуется как «полнейшая» (*Пропп В.Я.* Морфология сказки. Л., 1928. С. 123–124. Репринт). Об этом см.: *Косиков Г.К.* «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики) // От структурализма к постструктурализму: Французская семиотика. М., 2000. С. 20.

¹⁸ *Софронова Л.А.* Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 689.

¹⁹ Эту примечательную особенность «памяти» демонстрирует исследование К. Гинзбурга, который сосредоточился на взаимопроникновении визуального и смыслового рядов. Один и тот же топос функционирует в контексте различных способов его объяснения. Сходная зрительная формула (указующий перст или простертая рука) на плакатах разного времени приобретает разный смысл, обыгрывается, наделяется новыми коннотациями. Плакат, как никакой другой вид искусства Нового времени, находится на пересечении лозунга и образа, идеи и повторяющегося мотива. Это явление Гинзбург со ссылками на труды Г. Бинг, представляющую научное направление Института Варбурга, назвал «Pathosformeln» или «formulas of emotion» (в русском переводе «формулы патоса»). Конкретные средства выразительности, символы высокого напряжения и эмоций могут использоваться для воплощения самых разных смысловых намерений. См.: *Гинзбург К.* «Ты нужен своей стране»: исследование из области политической иконографии // Одиссей. М., 2005. С. 210–211.

- ²⁰ Об этой особенности средневековой поэзии см.: *Эюлттор П.* Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2003. С. 185–190. Теоретик средневековой поэтики определяет важность так называемых дистрибутивных факторов, т. е. переносит силу внимания с отдельных повторяющихся признаков целого на самое целое, на исследуемый источник как систему взаимообусловленных элементов.
- ²¹ *Якобсон Р.* Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры / Сост. Н.Д. Арутюновой. М., 1990. С. 119. В цитате разрядка автора передается курсивом.
- ²² *Неусыхин А.И.* «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки // Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994. С. 641.
- ²³ *Якобсон Р.* Два аспекта языка... С. 115.
- ²⁴ *Барт Р.* Указ. соч. С. 136.
- ²⁵ *Дэвидсон Д.* Общение и конвенциональность // *Философия, логика, язык* / Под ред. Д.П. Горского, В.В. Петрова. М., 1987. С. 213–233.
- ²⁶ Чтобы не оказаться в ловушке объективизма, приписывающего сознанию вторичную роль зеркала, которое отражает, хотя бы и неполно, действительность, отметим, что речь идет о сложном процессе конституирования (о процессе конституирования на примере анализа опыта пространства см.: *Мерло-Понти М.* Пространство // *Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века.* Томск, 1998. С. 27–95). И неважно, о конституировании каких объектов идет речь: о пространстве, координаты которого могут быть оформлены сознанием, или о наличном общественном мнении, включающем как социально одобренные знания, идеологемы, мифы, так и легитимации институтов, установлений, обычаев. Сознание конституирует как внешние не только физические, но и любые интересобъективные и социальные данности, а человек, оказываясь вовлеченным в отношения с себе подобными, строит свое поведение в русле типичных определений ситуации, что образно подметил А. Шюц: «Человек изначально находится в окрестностях, уже “картографированных” за него другими» (*Шюц А.* Указ. соч. С. 517).
- ²⁷ *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 154.
- ²⁸ *Бройтман С.Н.* Историческая поэтика. М., 2001. С. 140.
- ²⁹ *Дэвидсон Д.* Указ. соч. С. 229.